

АНДРЕЙ АНТИПИН



ГОРЬКАЯ ТРАВА

ПОВЕСТЬ

I

Очкастый рудой мужик, стрелявшийся на днях из самодельного пистолета, был родом из бурятских степей. Звался Саня. Любил папиросы “Беломорканал” — питерские. Об этой Саниной страсти с гордостью говаривала его жена Наина, когда они в праздник задерживались на клубных посиделках:

— Саня у меня деликатес: он другие фабрики не курит!

В Харётах он состоял в шоферах при молочной ферме, возил полный кузовок баб и бидонов, бил тех и других на кочках-буераках, и бабы стучали черпаками в кабину, а бидоны гремели крышками и плевали молоком... Это было до армии; после Саня крутил гайки слесарем-автомехаником, зевал монёром на почтовом крылечке, без году неделю конюшил... Это его и заело. Он от скуки напялил на себя дерюгу из чёрного барашка и подался в сторожа, спал на лавке, а то учил нас, ребятишек, воровать со склада гвозди и сурик.

— Было у меня, мужики, в хозяйстве две жены, — и обои, конечно, проходимки! Одну я схватил за шкварник и сжёл в печке; другую порубал на куски, скормил поросётам... — всё, случалось, рассказывает Саня, или надорвёт зубами свежую пачку “Беломора”, обстучит папиросу о колено, за-

АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публикуется с 2004 г. в районной печати и в журнале “Сибирь”, лауреат журнала “Наши современники” (2010). Живет в Иркутской области.

душит бумажное горло двумя быстрыми пальцами и смолит в тёмную ночь, щурясь от сизого дыма из далёкого сумрачного Петрограда...

Нигде ничто Саню не держало, всё-то он подбирал службу по себе, но какой он есть — это звёздное поле Саня к сорока годам и сам, кажется, не освоил.

...Он с детства уважал чёрно-белые размашистые фильмы, под пулемётный стрекот бобин выпускаемые на клубный экран из узкой амбразуры кинобудки. Цветные ленты презирал:

— Спят, как новые пятаки! Глядеть больно...

Ночами школьник Саня трепал книжки о войне, ради пущей сласти и мальчишечьей славы потаскивая их из библиотеки, из окошка которой он в темноте вынимал отвёрткой стеклинку. Книжки, как и полагалось, хранились нелегально в диване, и эта подпольная революционность, это стихийное партизанство будили в Сане кровь и пенили воображение. Он чего-то царапал карандашом на титульном листе, организовывал в стаю косые циферки, раскатывая сухими волнами кожу на лбу и выпятив обветренные губы, боевые карты неизменно и нудно перемерял штангенциркулем, а если находил неточности, многословно отписывал о своих соображениях по тому адресу, что прилагался в конце книги, и с волнением ждал ответа — может быть, даже через сельсовет... Так-то Саня скоро посадил свои глаза, — дядя Лёня-американец (он жил в районном центре) привёз ему из аптеки стеклянные.

Знал Саня много чего изустно, больше истории о давних днях, когда “сахар был слаще, *жись лучше*, “сучок” стоил *рубль пият*”, и, повествуя, подражал старикам, курившим в тени изб. При этом он с удовольствием шоркал рукавом комсомольский значок — уходящую цацку эпохи — и верил в банника, в конец света, в то, что есть живые мертвецы, и дождь в сенокос обязательно хлынет, если развалить литовкой лягушку.

В дембельской драке с городскими пижонами, затрепавшей по швам на читинском вокзале, его настигла в шею стальная приبلуда. Назавтра Саня объяснил милиционеру, что это и должно было случиться.

— Ну, почему?! — спросил милиционер.

Оказалось, за прощальным армейским ужином нож повернулся остриём в Саню сторону...

У матери Саня был вторым ребёнком — не по счёту, а по наличке. Он подгадал в неё — русскую, ржаную, — и был ближе к сердцу — поскрёбши горький. Двух его старших братьев мать спустила мёртвыми; сестра Людоchка, срединная между Саней и Родей, в пять лет свалилась под мост...

Отец — совхозный зоотехник — наколол руку тифозной иглой, когда Саня сушил на ветру сопли. Буряты разожгли у ворот дымную ветошь, и малой Саня, вернувшись со всеми с кладбища, раз и другой со смехом прыгал через костёр... Больше отец ничем не остался в нём. Саня знал со слов матери, что первенец Родион уродился в Кима Африкановича: раскосые вдумчивые глаза, жилистое заострённое лицо, тонкий дёрганный рот... И, глядя из-под ладошки на брата, маленький Саня любил в нём забытого родителя, как любят радугу и солнце. Родя в ответ возил Саню на рамке велосипеда, забирал его по вечерам из садика и хлестался за его синяки и обиды с другими мальчишками...

Мать с рассвета возилась в пекарне, рано получила надсадку и часто умирала:

— Вот оставлю вас одних... — слёзно глядела она в красный угол на святых, тайно восстановленных в правах. — Родьку, как старшего, определяет на конюшню, а тебя, Санька, спихнут в *ынтырна-а-ат!*

И сердце сжималось у Сани в груди, как мокрый снежок в руке, он прятался в сарае и плакал о матери, о её будущей чёрной смерти, о своём горьком одиночестве. Но, благо, мать наутро раскачивалась, ходила белая и растерянная, всё роняя из рук, не замечала никого и ничего...

Саня рос под Родиным крылом, как под небом Родины.

В сонные часы и дни материной болезни, когда ни половицы не скрипнут, ни святые не заговорят, Саня спал с братом, от которого пахло рыбалкой, порохом, степью, свободой...

О Роде болтали разное.

Он сторонился людей, жил своим высоким сердцем и своей умной головой, тоже зарылся в книги, но читал их не так, как Саня, — с жадным голодным храпом, — а с твёрдым нутряным пониманием ненужности и даже вредности прочитанного. Всё больше о чём-то думал, словно Господь припас ему задачу, он же давно её осилил и теперь не ведал, куда податься со своим горьким знанием.

— Ты почему такой-то, Родька?! — матерински вздыхал Саня.

— Какой?

— Ну, нет же у тебя ни друзей, ни девки! Другие, в твои-то годы, слушают этих... “Стоунов” и лижутя на танцах, а ты и в клуб не ходишь...

Родион с тоской отводил глаза, а то, не глядя, доставал из-за спины курево, с хрустом заломив руки, — подмышки, как у мужика, курчавились терпико и чёрно на фоне бледно-голубой майки, — с нервным треском зажигал спичку и, держа папиросу меж узких смуглых пальцев, наколотых крючками и шурупами, торопливо и жадно глотал дым.

— Не то это всё...

Саня следил за ним с восхищением, бегал по комнате в задравшихся трусах и свёрнутой газетой гнал в распахнутую форточку, в звенящую сверчковую улицу сладкое душное облако:

— Ну, Ро-одька! И мамки не боится... А дашь пошабить?!..

На столе у Родиона, как Библия, лежал захватанный журнал — “Модельер-конструктор”. Они прошерстили “морской” выпуск и даже склеили фрегат из деревянных линеек, поставили парус из пионерского галстука и понесли судно на речку, вложили в него записку с желаниями и пустили в вечное плаванье.

Санины мечты были телячьи и к его восемнадцати сбылись, а у молчуна Родиона судьба пошла винтом.

Брат выучился на механизатора и, приехав из города с красным дипломом и гордой красивой женщиной, отделился. Жена его через год или два спуталась с учительской, унесла курносую дочку, как птица-аист, — Родион, длинный и сломанный, с работы брёл домой огородами, жирными да вязкими от пролившихся дождей.

— Не торопись, Санёк, с поженитьбой! Приглядись для начала: что за человек?.. — наставлял Родион, пьяными руками, словно прутьями железной клетки, загребая Саню в объятья, когда отслуживший соловушка по старой привычке прилетал к брату за советом, а то просто торчал на немьтом крыльце.

Но Саня не послушался и, едва в деревню запорхнула интересная накрашенная бабочка, спросился на волю.

— Ух ты, мой глупый перец! — Родион отдал ему ключ от своей избы и вернулся к матери, а шаферить на Саниной свадьбе отказался...

II

В доме у Сани всюду было железо. Под столом — гаечные ключи, зубчатые шестерни, в углу — топоры без топорниц, на подоконнике — горсть свечей зажигания. Под матрасом — разводной ключ. К спинке семейной кровати Саня прикрутил лодочный мотор “Нептун-23” и, проверяя работу цилиндров, иногда заводил его по ночам. Даже в чугушной лытке, в которой тушили мясо и картошку, валялись болтики, шайбочки, крючки. А лакированный теремок с кукушкой замолчал на другой месяц после свадьбы, пробитый шалой пулей, — Саня застал с молодой женой барабашку...

Ещё удивительно, что Наина вообще пошла за него.

Суеверная блажь с годами не выветривалась из Сани, сидела в нём, как дурная болезнь в худом теле. Сколько Наина ни шефствовала над ним, сколько Родион ни вправлял ему мозги, и мать, задыхаясь, вползамаха ни хлестала полотенцем через весь Санин хребет, на который он регулярно скрёб, — ничего они и гуртом поделать не могли. Уже и виски ему надышала серебряная птица, смахнула крылом клок ржавых волос, округлив стеснительное

пятно плешины, и со всей страстью долбанула в неё клювом... Нет! — Саня как верил, что вечером не занимают соль и деньги, на пороге не стоят — к покойнику, а спички на открытое место кладут к пожару, так и продолжал цепко верить, своим неистовством доводя соседей до смеховых коликов, а жену — до белого каления.

Они плохо жили — жгучая и сарафанная баянистка из клуба и егозливый Саня, у которого семь пятниц на неделе, и все выходные. Это Бог отвёл их от большой беды, не послал детей: Саня в шоферах застудился от земли, чиня по зиме машину, и семья его с той поры было пустым. Уж он и сам мотался по курортам, и жену на всякий случай затуркал лечением, но всё без толку.

— Иди, старуха, поскреби по сусекам! Скатаем с тобой колобка, мо-дерни-зи-и-ируем: четыре спички — руки-ноги! — и пусть вертится по хозяйству!.. — от злости и стыда за себя, за свою мужскую немощь, пьяненький дразнил Саня жену и с тупой животной ревностью разглядывал её толстые мясистые губы, заманчиво покрашенные помадой. И чем бы ни томил себя Наина: гремела ли она у плиты, разжигала ли в печи огонь или мяркала в тазу Санино тряпье, — губы её раскисали, мягкое большое тело, от обиды оползшее на табуретку, словно бы норвило уплыть из врезавшихся в кожу одежде, а чёрные круглые глаза, которые Саня за их невыразительность считал глупыми, с болью и ненавистью простреливали Саню от потной маковки до пят...

В застольях Саня горланил за всех, угощал других, а пуще сам угощался, но внезапно замолкал, обнаружив рядом с женой чужого мужика.

И уже горячечно воображал, что кто-то на субботних танцах водит Наину за кинобудку, валит на притоптанную траву, в душную пыль проулка...

Тогда глаза его набрякали кровью, руки отправлялись гулять сами по себе, роняя рюмки на столе.

— Ничего-ничего! Я им устрою кордебалет... — успокаивал сам себя Саня и бежал в огород; запалив костёр из лучины, жёг концертные реквизитные платья Наины и цветные плисовые платки, которыми в женихах сам же её и одаривал; сидел до ночи на корточках и победно и мучительно плевал в синее угасающее пламя. А сам Саня не допускал до себя подозрений, был обидчив, как ребёнок, и если случалась короткая перебранка, уходил с матрасом в баню и закрутил кочергой дверь.

Приходила мать, обмотав поясицу лохматой шалью; стояла против низкого окошка и гнула от слабого ветерка.

— Санька, ты почто такой-то?! — кашляла с натугой. — Кто так делат — бежит от родной жены... Дураки только что!

За матерью Родион отваливал хромую, припадавшую на один бок калитку. Смахнув щепки с чурбана, на котором кололи дрова, подбирал сзади мятый пиджак и садился.

— Слышь-ка, Соловушка, чо хочу спросить... Я тебе “Роман-газету”, пятнадцатый номер за этот год, не давал?

Гнедые облака, полыхая, ржали над огородом, над Родей, над Родиной... И ничему не было теперь связки. Брат смотрел на облака, тосковал глубоко да косился на невестку, подававшую с крыльца советы.

— “Солёное озеро”? — едва жена, махнув обеими руками, убиралась с глаз, в щёлку предбанника подавал голос Саня.

— Но.

— Дочитываю!

— И как мыслишь?

— А врёт. Наверное, врёт.

— Это конечно...

Вообще, Саня всё понимал буквально.

По слухам, он с детства был такой. Сказал ему раз дед Лукьян Ефимыч, высокий иконный старик девяноста двух лет от роду, до гроба верховодивший в избе Золотарёвых:

— Са-анька, дров наколи!

— Где колоть-то, дед? — спросил Саня.

— Ну, поди, Глызину наколи!

Старик съязвил, а Саня поверил, наколотил Глызину дров. Дед, прознав об этом, изодрал ему волосы на висках: Глызин в тридцать четвёртом возглавлял комитет бедноты, в шайке с другой колхозной голытьбой отцанал у Лукьяна Ефимыча отцовский пятистенки, самого с женой и ребятишками едва не загнал на Соловки.

— Ведь он, лабазина, послушал и пошёл к Глызину! — со смехом качал головой Лукьян Ефимыч.

Как-то, ещё учась в школе, Саня посмотрел фильм “про мушкетёров” и с той поры своё героическое будущее приближал буквально. Он выстрогал ольховую шпагу, а на щит подобрал во дворе жестяную крышку от бочки, ходил в верхний край и задирали тамошних парней. Парни тоже задирали Саню, душили по башке чем ни попадя.

Это уже потом, стремясь закосить под Жеглова, он расточил добытый у стройотрядовцев стартовый пистолет и, выбив стеклинку в бане, прямо как из окошка “Фердинанда”, шмальнул тозовским патроном в жёлтую весеннюю ночь, напухшую за деревней. Кого-то даже ранил...

Было это в призывную весну, золотыми фиксами улыбался Сане срок.

Вступился военкомат, отослал жигана с глаз долой; Родион схоронил пистолет на чердаке, в дощатом ящике, обитом крест-накрест полосками из красной жести...

В конце концов, Наина поблёлкла от Саниных “кордебалетов”, которые он ставил ей по ночам, и в сердцах бросила баян, разломившийся на полу мычаще и жалобно:

— Ухожу от тебя, стручок!

Саня представил буквально, на радостях загулял, в капроновой сетке потаскал из огорода помидоры и огурцы, частью растеряв их по дороге, потом вымыл ноги и лёг спать.

Наина оскорбилась его мужицкой невежественностью и вправду скидала манатки, с августовской грязью укатила к своим в Биробиджан.

III

Последнее лето до своего бегства из деревни Саня ходил под чистым небом в пастухах, волоча в пыли острый истрелянный кнут на резной берёзовой ручке. Но как только Наина сошла с его фатеры, он затребовал в конторе трудовую, и уж с той поры волокся по свету, как сбита по ветру, шил да безобразил, тлепался по осенним лужам босой.

Он два раза женился, три — развёлся, кочевал по городам и сёлам, а домой дорожку забыл. Ему казалось, что там, в родовой деревне, где остались лишь недужная мать с братом да песчаная тоска могил, не будет ему простора, а душе вдохновения. Старуха науськивала на него всероссийский розыск, сам Родя не раз наступал ему на пятки, но едва Саню настигали и двумя руками делали выволочку, он срывался, как шатун, и уходил восвояси. И всё-то он искал какой-то чудесный выход для своей непонятной боли, которую будто бы нажил в деревне, а теперь глушил на ветру родины, всё-то мечтал забыться, затвориться, провалиться в тартарары и там, в дремучей глубине России, в беспмятном молчании духа, услышать самого себя, голос родных мест в одичавшем себе, и однажды аукнуться на него, явиться к отчему порогу блудным сыном, но не от горькой нужды, а по высшему требованию сердца и совести.

Словно на волшебной палочке он облетел всю обезглавленную державу. На уральском калийном комбинате бил соль в забое с поэтом Решетовым. Отстоял вахту на траулере в Охотском море. На одной из шумных воровских строек в Петрограде месил в мятом полубочье цемент и разочаровывался. Подался на нефтяные промыслы, куда-то по железнодорожной ветке Москва—Тында. После удачного сезона скакнул в сочинский поезд, много и сказочно пил в вагоне-ресторане, хвастливо швыряя деньги и безнадежно задаривая чаевыми развратную официантку Катюку, а ночью сам ли сошёл на одной из станций или ссадили жестокие собутыльники, но проснулся горе-

путешественник без денег и шанег на знаменитой Бодайбинке. Ну, отсиделся под сирым кустом, осмотрелся, а вскоре прибил к матёрой, с железными зубами, стае и мало-мало намывал в заколдованных лесах золотишко, сбывая его через границу в Китай. Однажды со всеми рвал когти, всё лето скукал под Якутском и тихонько ловил с браконьерами чира. Затем ещё год или два грузил ящики в порту Осетрово, спал, где кишки заломит спиртом...

Минувшей весной, стреляный и рваный, смолотый жерновами дорог до мучной седины и уже не верящий ни во что, кроме своей близкой смерти, в одном вельветовом пиджачке и с узкими, как у волка, рёбрами, напёршими в бока, в которых частыми короткими тычками отзывалось загнанное сердце, точно эхо его прошлой жизни, Саня прибил к северному посёлку на Лене. Прозябал в двухкомнатной квартирке на берегу, которую ему дали от сельсовета и где он затянул пустое окно целлофаном; служил оператором в котельной, ещё дожевшей на четырёх электродках. Один котёл с осени перевели на уголь, нацелили в небо харкающую трубу, а к топке наскребли мужиков из местной бражки.

Весной ранее мужики пожелтели от палёной водки и частью погибли, как перелётные птицы, частью выпорхнули из казённых постелей. Отхожие месяцы бродили по посёлку тени, воротясь от людей потухшими желтушными лицами, а затем повадились на старое. Только твёрдый пай хлеба и держал их у печи, а иным достатком не укрепиться на земле, для русских людей поставленной на Руси с наклоном. Зимой раскрестьянные мужики кидали уголь, возвращались со смены мазутные, как черти, и усталостью вязали глотки и руки. Летом чистили котлы, меняли в колодцах заглушки, то есть не были задействованы ни в чём, что бы требовало от них полной мобилизации душевных и физических сил. Посему они работали спустя рукава, галдели на ржавых трубах или шатались по заугольям — хреном груши околачивали, прилетали домой на кочерге.

*Моя любимая жена
Не пьёт ни пива, ни вина,
А пьёт одну наливочку
Четвёртую бутылочку! —*

каждый вечер у “чепка”, как звали здесь магазин частного предпринимателя, сокращённо ЧП и Ко, а по-русски — “чепок”, — орал закопчённый обормот по прозвищу Ёлочка, названный так за привычку раскидывать руки, дабы маневрировать шатким телом, которое, однако, неукоснительно соблюдало маршрут от магазина к дому, как бы темно ни было вокруг и в глазах.

На лохматой босяцкой голове Ёлочки распялась грязная замшевая кепка с коричневой пуговицей вместо помпона. В ошетиленных усах, закрывавших верхнюю губу, доживала последние дни до бани маркая угольная пыль. Прожжённые брючки-спецухи, подвязанные скоробленным кожаным ремешком, оползли на голенища кирзук, разлетающихся нашарканными носками врозь. Впереди Ёлочки, ширясь и застревая в калитке, маршево шагало плотное терпкое облако табачного дыма и водочного перегара, оповещающая двух костлявых собак и домочадцев о скором явлении кормильца. Но раньше всех об этом узнавала его жена Зоя, нервная почтовская техничка с натужной телесно-лиловой шеей и невнятным выкриканным ртом. В свои трудные тридцать восемь Зоя одного за другим выметала четырёх детей, привычно ходила пятым, на пороге и крыльце придерживая квашёнку-живот, и против неверных слухов об её любви к наливке была трезвой даже в понедельник. Заслышав под окнами песни трудовой молодёжи, она уже спускалась с крыльца со шнуром от сгоревшего кипяильника, в резиновых мужниных чёботах на босу ногу, и через весь двор шла любимому супругу наперехват.

— Горе горькое по свету шаталось и однажды в наш край забрело... — раздувающим ноздри шёпотом говорила жена Зоя; и остерегала: — Ты не уходи, не уходи, милый друг, от разговора!

Но Ёлочка не слушал и уходил; вернее, уползал по жердяной лестни-

це — на чердак, откуда строил жене фиги, языки и прочие наглядные знаки своего мужественного сопротивления режиму...

— Где оставил глаза?! — устроил Ёлочка допрос, когда Саня заскрёбся в брошенной клетки по соседству.

С уважением посмотрев на Санины очки, перемотанные изолентой, Ёлочка тут же уяснил, руководствуясь какой-то своей светлой мыслью:

— У нас, поди, и работы для тебя нет!

За годы странствий Саня не был только космонавтом. Он раздобыл немало “корочек” и, ещё из автобуса увидев над посёлком дымящую трубу, сразу же определился с трудоустройством.

— Оператор котельной, — сообщил Саня бдительному товарищу.

— О-о! — сообразил Ёлочка и размахнулся руками, чтобы удержаться в воздухе. — Тебе к нам в подшефные надо! Так бы и рапортовал...

И тут, на новом месте, Саня быстро обырл, сцепился языком с Ёлочкой и его поделщиками, и окошко его веранды по ночам звенело от высоких голосов, а огненные окурки, которые мужики бросали с крыльца, алыми трассерами врезались в темноту. Состоял Саня в бобылях, алиментов через почту не перечислял, не кривой, не хромой, только плешь с осиное гнездо да рябь на лице — на сварных работах в Тюмени стрельнула шипящая окалина... Холостые бабы да вдовы присматривали его через штакетник. Имели в виду, что добрая метла выметет из Санниного угла разную шухеру, сдался бы сам хозяин. Однако Саня, как печной уголёк, жёгся, не брался в руки, хмуро сдвигал очки на переносицу.

IV

На смену в другой конец посёлка Саня ходил полевой дорогой, высчитав с похмельной скуки, что так на сколько-то шагов короче, а может быть, просто потому, что захлёстнутые лебедой и мелкой сосной пашни напоминали ему родовые степи: та же стеклянная синь зияла крутом, то же огромное небо глыбилось в вышине, а ветер ворошил косматые зыби облаков, прочерченные дымным следом реактивного самолёта... Как-то брат Родя склеил из свежей “Правды” и лучинок воздушного змея, после уроков Саня запускал его в осенней ненастной степи, и змей, распарусив газетные крылья, сумасшедше метался и клокотал, просясь под сонные облака, тонкая рыбацкая жилка, которой он был полонён, тянулась из Санниного кулачка. Однажды Саня забрался на высокую гору Даглан, синевшую в азиатской мгле. На горе сильничал ветер, гнул чахоточный кустарник, надувал брючные гачи, а затем и вовсе вырвал жилку. Змей вспорхнул и полетел по небу, по которому бежали тучи. Саня тоже побегал под гору, через степь. Но тучи оказались быстрее и куда-то унесли змея, а Саня заплакал и пришёл на пустырь за деревенским оврагом, чтобы кидать в костёр сухую траву и глядеть, как она молча умирает. Не с того ли давнего дня душа его парусит на ветру, а Саня всё бежит и бежит за своей пустокрылой мечтой, как за улетевшим змеем, отсюда, с грустной низкой земли, хватаясь за скользкий хвост её серебряной тени?..

И много, много чего поднимала память у жизни на краю, на самом доньшке Господнего колодца, где Саня сыскал бродячим ногам путы, а сердцу — медленную увяданье. Когда в горле горчило от дум, он оборачивался спиной к ветру, чтобы воспалить в горсти огонёк, томительно курил, образывая дыханием впадинки на щеках, и ветер бросал на семь шагов окрест сгоревшие спички.

Дни в эту весну стояли ясные и тёплые, вербы, словно целлофановые, светились вдоль речного обрыва, а внизу его по сломанной старой осоке и проржавелым ольховым листьям с шорохом проползла мутно-зелёная вода. Снег на огородах почти сошёл, решётчатая тень от прысел, ещё недавно длинно лежащая на плотном и белом, нынче коротко рябила на земле, и узкий гребень влажного песка, разорванного по осени бороной, резко желтел на фоне блестящих чёрных комьев. Старуха Никитина в телогрейке и платке походила на ожившую мумию, одинокую и страшную в своём беспомощном оди-

ночестве, с задравшейся на ногах грубой юбкой земляного цвета. Она сгребала вилами раскисший картофельный лыч, грузила его в дырявую цинковую ванну, поставленную на четыре лысых велосипедных колеса, соединённых железными втулками, и, вцепившись в трубчатый поручень, с грохотом и оханьем везла через огород на межу, а затем долго и словно бы нехотя возвращалась к жизни, отдыхаясь сдавленным беззубым ртом на перевёрнутой тележке и посматривая на задранные колёся, с медленным застыванием спиц ещё вращавшиеся перед её неподвижными глазами. Лыч со своих пяти соток, крепко урезанных со смертью старика, она собирала уже вторую неделю, делая за день три-четыре возки, скреблась, как курица, пугаясь идти в гулкую избу, где молитвен скрип половиц, а ночью — трупная синева в окошках.

Саня, как доброй знакомой, кивал старухе, но задержаться с разговором почему-то робел, а помочь совестился.

— Здоново-здоново! — нашарив его перед собой томительным взором и снова не признав, устало отвечала старуха; голубые глаза её слезились от ветра. И на отпотевших берёзах уже нарывали коричневые почки, на пастбище наплакалось много сталистых озёр...

Высокий остроголовый пастух Витька, рассевшись на порушенной изгороди, пальцами брал из пенопластовой коробки китайскую лапшу, а стадо разбрелось по бледному лугу до тёмного ельника и, прядая ушами, выедало жёсткие пятаки стоговиц*, посолённые крупной изморозью. Витька тоже прибился к посёлку со стороны, батрачил на дворе у мужастой городской фермерши, которую называли “Новорусская” и не любили, но пожар, поднявший крышу телятника, тушили всем народом. Это всегда занимало Саню, — то есть то соображение, что двадцатилетний Витька горемыкой торчал на земле, а не было ему в жизни печали. Жил он в косолапой, окошками в землю, избе с бывалой разведёнкой, от шеи до груди обваренной известью: Валька ссаживала с печи кипящее, как адава сера, полубочье... Она смотрела на него матерью, но Витька не замечал, пьяный гонял черенком от метлы её и её детей, о которых он забывал, сколько их числом и какие будут его, а в женский праздник рано утром пёрся из магазина с вином и букетом дешёвеньких цветочков, небрежно, как веник, сунув их под мышку. На весеннем морозе цветы роняли лепестки, устилая за Витькой его трудный путь к дому, пролежавший через гулёвые избы, и авоська с бутылками к вечеру легчала, а Витька, наоборот, тяжелед, наливаясь сонной ершистостью и грубостью, но забитая, всегда похмельная Валька и душистому растрёпанному венику была рада, ставила его в склянке с подсахаренной водой на окно, мутно глядевшее на улицу. Каждый день она ждала ребятишек из школы, и после обеда они стайкой прилетали на луг, боязливо косясь на хмурого Витьку, помогали ему загнать стадо в стойла...

Иногда Витька отрывался от чашки и коротким узким ртом, в который со смачным чмоком утекала кудрявая лапша, окликал глупую корову, норотившую заблудиться в лесу:

— Ну, и куда прёшь, проститутка?! — а заметив Саню, он дико щурил на него совиные жёлтые глаза...

Молчали на сквозном ветру, трепавшем белые волнистые облака и Витькины тощие волосы, хмельные от лихой свободы, ибо Витька уже с ранней весны скинул свою безразмерную “пидорку”, чтобы скрыть ею от стороннего глаза папачу бутылку. Ветер толкался в ковыле и возвращал в лицо искры двух папачос, а глумливое вороньё, доклевывая дохлую рыжую собаку, которую Витька вывалил из капронового мешка под угол, чернильными взъерошенными кляксами жирело на телефонных столбах да вдалеке расчерчивало могильными крестами голубую фольгу неба. А наступала корова на лёд озера — хрустело, гремело на весь луг, от одного бережка к другому обваливался вздутый приморозом капрон. Так всё было зыбко и ранимо, что, казалось, пропасть, сгинуть, оставить земную жизнь в эту пору было легко и отдохновенно. Вот только не умиралось, всё жилось, всё терпелось, и не было краю ни ветру, ни тоске.

* Стоговище — остаток от стога сена.

— Тёте Гале-то отписал? — долгим, тягучим голосом спрашивал Саня, который за последний год чего-то обмяк душой и затаился.

Он глядел помимо Витьки, мимо мочившихся, выгнув хвосты, коров с бурым треснувшим навозом на сопревших ляжках, мимо редющей гряды изб, вставших на длинном угоре, обрывавшемся за посёлком красной глиняной рытвиной, мимо ельника, который, говорят, живёт триста лет, где мучительно куковала одинокая кукушка, вообще куда-то мимо этой польнной подлунной земли. Но его глаза ни в чём не находили опоры и уже ничего и никого не хотели видеть за потными стёклышками очков. Тогда Саня закрывал глаза, а из-под плотно сжатых век выдавливалось и бежало по лицу, но далеко утечь не могло и, продираясь через небрежную щетину, исчезало в водвороте жесткого рта.

— Чо молчишь?

У Витьки в Красноярске мыкалась, куковала без мужа и детей родная тётка. Она поставила его, сироту, на ноги, вымахавшие до сорок пятого калибра и к девятому классу раздавившие всю обувь, доставшуюся Витьке от покойного дяди. До восемнадцати Витькиных лет тётя Галя держала его при своём больном сердце, которое Витька уже тогда исправно покусывал, бросил ремеслуху и давил диван, задрав ногу в снежно-белом носке. Тётя Галя пласталась то санитаркой, то почтальоном, то продавцом на мясном рынке, в три нормы кормила Витьку и обстирывала, но однажды с искрами в глазах опустила на табуретку и кое-что рассудила, в клеёнчатом переднике прошла из кухни в Витькину комнату, где глюх от собственного шума и шевелил на окнах занавески музыкальный центр, и перепачканной в курином фарше рукой слёзно шибанула племянша по шее, чтоб совсем не испортить... Витька без любви звал её маманей. Но, пустившись по миру, он тут же выпнул её из сердца, как не поминал он всей своей прошлой жизни. Верно, Витька и не сказал бы, было ли что вообще за его плечами кроме рюкзака из грубой мешковины и котелка с бренчавшей в нём ложкой.

— Не-а! — незло огрызался Витька и, набрав в живот пузырь воздуха, громко отрывивал его. — На фигу козе баян?

— Тётка всё-таки! В училище тебя устроила на сварщика. Взял бы да съездил...

— А где я тебе деньги на билет возьму?

— Потребуи у Новорусской. Платит она вам?

— Она тебе заплатит! Сама колбаску-сыр жрёт, бутерброд с обеих сторон маслом мажет, а нам — во-о! “Боярышника” наберёт за тридцать рублей — и лети на спиртовом паре!

— Ну, тогда займи у кого-нибудь.

— Ха! Вы все умные такие, а чирик дасти на курево — легче удавиться на суку!.. — Витька доглядывал холодную лапшу в золотистых пятнах застывшего жира, шмыгал носом, а потом вдруг разражался свистящим свирепым чихом, и лапша, попадая в носоглотку, свешивалась у него из нашарканных красных ноздрей...

В сумерках Саня обходил заваленный арматурой и шлаком двор котельной, проверял, заперты ли двери и ворота, да поплёвывал на звёзды, горевшие над жестяной крышей. Затем он заваривал чифир, цедил до одури, до опоения, заедая налипшей к фантикам карамелью, до тошноты курил, размазывая окурки о донышко консервной банки, а едва начинало юзить, притворял фанерную дверь в дежурку и разбирался ко сну, выкладывая на стол спички, очки, дедовы часы “Победа” без ремешка. Спал на амбулаторной кушетке с полезшим кусками дерматинном, закрыв глаза на стрелки счётчиков, тихо гудевших в темноте. Виделась ему костяно-белая от древности бурятская деревня, откуда он пошёл по свету в поисках рая: растресканные временем торцы брёвен зияют, как дыры, а заборы держатся гуртом, будто избитые или пьяные, но когда падает один, вокруг скашиваются и умирают сразу несколько журавли, и бескрылые журавли, засмотревшись в сухие колодцы, качаются без ветра и отпевают кого-то своим шарнирным скрипом... Рай Саня не обрёл, от гнезда отшился: старуха-мать, вскидывая над головой кривой батожок, прогоняет корову в поскотину, брат Родя, скорее всего, нари-

совал на Саниной фотографии крест, а кресты других Золотарёвых давно полегли и перечеркнули землю под собой...

И Саня, пробуждаясь среди ночи от звона лопат, которыми мужики набрасывали в гудящую топку уголь в искрах льда, а летом — от шарканья сапог за дверью, с воем в глотке представлял, как тяжёлые отсыревшие домины всё глубже уходят в землю, а люди в истлевших рубищах бьются обглоданными черепами о гробовые крышки.

— Надо окошки расколотить, душно стало... — обморгав слёзы, брызнувшие в надетые очки, Саня со сна обшаривал всего себя, чтобы найти себя в пустоте.

Спасибо, Борька-юморист с Гондурасом, ишачившие на погрузке угля, приволокли из библиотеки мешок списанных книжек и применяли их по своей разумности. Саня же, как в юности, читал ночью, облизанным пальцем с треском задирая пахнувшие мышами и пылью страницы, а отвлекаясь на то, чтобы проверить термометры и отзвониться в город с отчётом, аккуратно загибал с угла прожитую страницу. За чтением он мало-мало забывался и с прозрачной тоской вспоминал себя прежнего, и Санина боль вспоминала его прежнего, о котором она не болела, лишь тихо всхлипывая под рёбрами, как под лестницей душевная вахтёрша, потерявшая сослепу ключи. Саня уже одолел полмешка бумаги и тлена, а взятые без его ведома книги нервно перекапывал, отшвыривая ненужные: “Ох, уж мне эти пастырники-мандыштампы!..”.

...Мужики с утра распыляли на курево его стопку, бережно складированную на подоконнике.

— Других раскурок не нашли?! — кровно обижался Саня и дрожащими пальцами крался в карман за папиросами — крепкими, студёными, прожигающими до кишок.

V

Раз в три дня с вечера Саня заступал на дежурство, а остальное время существовал мелкой шабашкой.

На битёе могил Саню сомустил Борька-юморист, весёлый матерщинник с натасканными кулаками, которые всегда нервно дрожали и, словно засидевшие собаки лапами, возбуждённо перебирали пальцами, скреблись за пазухой и в карманах, а то бренчали железным браслетом часов, ожидая сигнального свиста для своих охотничьих вылазок. Псать не портил породу, регулярно выгуливая кулаки, и они сцеплялись с такими же острозубыми кипящей сварой, выходя из неё победителями и отплёвывая чужую кровь и сорванную с костяшек кожу... Борьку ценили и уважали. Он тоже, заодно со всеми, пожелтел от водки и совсем уж пропал в районной больнице, но спас отец. Старикан вырос из каких-то глубинных неразрывных корней, всего в нём намешано было помногу, словно ручейки и малые речки, стекались в него разные крови, на грубых скулах и резких надбровных дугах бурля азиатчиной, и повалить его было непросто, поэтому халявные лекарства старик не пользовал, а выбирал льготу деньгами и к своей смерти скулачил полнёхонькую трехлитровую банку, которую заначил от бражника-сына в подполье, но сплюнул через плечо и сдал заветную врачам, и Борька чудесным образом одыбался. Спустя месяц-другой желтизна сошла, а с появлением в котельной трубы Борька уже состоял при важном деле. Бросая в топку уголь, он часто говорил: “Ох, распинал бы я голубятню тому, кто подписал меня на эту чахотку!” — и от раскрытого ревущего огня оплывало его багровое худое лицо, металось на сальном подбородке бронзовые тени. Досуг Борька оставлял для занятий более приятных. Он объявил себя директором кладбища, а своим замом назначил косоротого хромого Гондураса, по первому снегу откинувшегося из тюряги. Вместе они оборотали уже не одного покойника, всё больше павших пьяниц и стариков, которых мочалил и снаряжал в дорогу хархотник Мотя. Цену просили умеренную, чаще обходились магарычом, варили на старых могилах чай в обожжённой консервной банке...

На Духов день, тёплый и светлый после утреннего дождика, хоронили старуху Никитину, которую Саня встречал весной в поле.

Она жила в избёнке на берегу, от крыльца до уборной загоревшей дурной польнюю. Ссечь её у обветшавшей старухи уже не стоваривались руки: правая всё-то сжимала гладкий, как кость, посошок, левая распутывала на дряблой шее тугой узел надавившего платка, тёрла слезящиеся кроткие глаза, а то сменяла на боевом посту правую руку и, падая от уха, за которое заправляла бледную прядь волос, до поясницы в слепом бессильном полёте, как падают с умерших деревьев гнилые сучья, сама хваталась за старухин крепёж и, столкнув другую руку, тем сама крепилась. Старик мог бы отбить косу и срезать плакальщицу-траву, но его наперёд скосила костлявая, его собачья ушанка истлела на крюку, вверченном в стену бани, а сети сгнили. Был ещё, правда, сын Юрка, беглый алиментщик и диджей, пальцем крутивший в старом клубе пластинки. Но этот свалил в деревню Кунарейку, куда-то под Иркутск, и не казал носа. Когда ему отписали про мать, он отспонявил через сельсовет деньги для погребения, а уж отсюда наняли копальщиков. Поселковые женщины собрали бабу Шуру в последний путь, украсили её цветущей сиренью и стгоношили кой-какие поминки. Старухи посуху, без слёз, проводили подружку до электростанции, там начинался сворот на кладбище. Здесь гроб поставили на дощатую телегу колёсного тракторёшки, которым управлял Ёлочка. Ну, поволоклись через пыльное поле в лесок за синей далью, где серебрились опушившиеся берёзки и осинки. В паху у Ёлочки вскочил волдырь, каждую минуту Ёлочка ждал своей гибели, был набожен и не пил. Он выгрузил гроб на землю и суетерно укатил, бросив могильщиков наедине со старухой, с их мерзким делом...

У Сани это были первые профессиональные похороны.

Жуть напала на его сердце ещё там, в посёлке, когда бабу Шуру выносили из её неказистой избы с подслеповатыми окошками, а потом через большой старинный двор, в котором душно пахло отцветшей черёмухой и тленом русской уходящей жизни. И теперь эта жуть не отпускала Саню, шарила по нему потными руками, трясла за глотку, колотилась под коленками. Он был сам не свой. Водка, которой он воровски оглушал волнение, не лезла в него, проливалась на белую праздничную рубаху, к вящему неудовольствию мужиков. Едва гроб опустили на телегу, как на вольном духу лицо старухи почернело, запали в рот синие губы, руки измялись и стали фиолетовыми ногти. Саня боялся взглянуть на покойницу, обмирая от глухого стука крышки, прыгавшей на кочках. Юморист сел на крышку, и его немые клокастые волосы, которые загребал на затылок ветер, беспечно качались у Сани перед глазами. Саню мучило, бросало то в жар, то в холод, он раз или два срыгнул с телеги зелёной селезёночной пеной. Гондурас, вяло кидавший на дорогу пихтовые ветки, плоско зевнул, надышав на Саню гнилыми зубами, и подал ему солёный от слюны окуроч:

— На, керя, сделай пару зябок!

Уже на кладбище Саня суетился без причины, обвалил в могилу часть низовой, всё ещё ледяной глины, едва не опрокинул туда же смолёвые доски на полати, пока Борька не огрел его черенком лопаты. А как стали предавать гроб могиле и Саня услышал: “Отпускаем!” — он, по своему обыкновению, понял буквально — и отпустил верёвку...

Гроб перевернулся, отскочила неприлаженная крышка. Баба Шура, роняя из рук ветки сирени, врезалась лицом в красную холодную яму и уже оттуда, из глубины, стукнутая о твердь, отпахнула посиневшее от пятака веко и оглядела свет заволочённым мёртвым глазом.

— Ты чо сделал, образина? — медленно сказал Борька, когда старуха затихла в корявой нише. — У ней аж сандали свалились!

Саня весь съёжился, словно подбирая себя, распавшегося, как пиджак без пуговок, и покосился на зашедшего сбоку Гондураса. Очки сползли у Сани на кончик носа, как две огромные слезы. Наконец, не находя своей безмерной глупости оправданья, он тихо произнёс:

— Ты же сам сказал!

— Я тебе ка-а-ак сказал, ушлёпок?!

— Отпуска-ай...

— Дак гроб отпускай, а не верёвку!

Гондурас прыгнул на гроб, схватил бабу Шуру под мышки и силой запытал её в домовину, небрежно закрыл глаз, а серебряный крестик, выскользнувший старухе на кофту, сорвал с тонкой нитки и сунул себе в карман. Саваном он утёр себе потное лицо и грязные руки, потом уже набросил его на покойницу.

— Ну, и ладушки, старая, лежи с миром! — и сикось-накось надвинул на гроб крышку, на два гвоздя прихватил молотком.

В три лопаты зарыли скоро, как собаку.

Саня, боясь могильной зовущей пустоты, кидал глину со стоном, но застыл в ужасе:

— Тупли-то забыли надеть!

Борька, не меняя сосредоточенного рабочего лица, хмыкнул:

— Их Гондя своей блатной шмаре прихватил!

Воткнули в рваный бутор, поднявшийся над старухой, самодельный крест. На нём Гондурас выскреб гвоздём и обвёл карандашом старухины метрики, взятые в сельсовете. Отчество горе-ученик начеркал с ошибками, но исправлять не стали.

— Без чирика сотку оттянула Милентьевна на белом свете! — оскалился прочифиренными зубами Гондурас, поглаживая своё творение. — Зажилась, зажилась!

— Рот закрой, придурок лагерный! — сказал отрезвевший на ветру Борька и полез в брезентовую сумку, в которую им собирали обед.

VI

Поминки справляли тут же, на бугорке, повесив потные рубахи на изгородь, обнёшую кладбище с трёх сторон. С четвёртой, грудной, изгородь проломил, здесь ползли, окапываясь в бесхозном поле, свежие могилы и, поворачаясь, глядели на посёлок перископами крестов...

Кладбище словно бы жило с открытым сердцем.

С утра небо было в тучах без вести о хорошей погоде, но к выносу ударила вспышка света, соткалась в мире яркость настывающей синевы, перемежаемой нежнейшими, как валки тополиного пуха, облачками с лёгкими голубоватыми полосками по краям. Но всё чаще, застилая небосвод плотной тенью, восставала изнутри неба огромная, очень тёмная не чернотой, а сгущённой синевой, даже не туча, а точно льдина, взломанная подводным течением. И вот этот то ныряющий вглубь, то показывающийся на поверхности осколок весь день нагнетал грядущие за ним дожди, и от этого поминутного ожидания грозы, грома, смерти неизъяснимый трепет творился в душе...

Гондурас, у которого от залитой водки больше скривился верблюжий рот и сталистой скорлупой навернулись глаза, закурил с пьяной размахкой. Сидя на корточках и пуская дым в верхнюю оттопыренную губу, рассечённую в драках, он опять вспомнил случай из своей тюремной практики:

— Собрали, короче, меня и ещё двух отморозков возле проходной, дали лопаты и ломы — гоните на пустырь, долбите землю! Я, короче, такой стою, в падлу вся эта канитель... Ну, зарядили прикладом в грудак: ништя-як, равнение на середину! Почесали на скотомогильник, где безродных трупиков хоронят... А жмурик, короче, орясина метра так два длиной, ему bestолковку кирпичом проломил... Мы с Блохой типа ковыряем ямку, а Бздливый с Лаптем колотят гроб из горбыля. За пять минут слепили какой-то ящик — а этот, жмурик-то, в него не залазит, ноги мешают! Прибежал Навальный, начальник смены, слона на пять метров летит. Приволок топор: нате, действуйте! Через час проверка. Ну, Лапоть ноги мужику отрубил, побросал их в гроб. Так зарыли...

Саня тоже вспомнил, как отца повезли в березняк за свежей пашней...

— И? — когда его скучный рассказ был закончен, серьёзно спросил Борька, давая понять, что Сане с его поганым языком лучше не высовываться.

На пиру сидел Саня, а не пилоьсь, кусок острым колом полезал в рот и долго ещё стоял в кишках. От разговоров, которые вели меж собой его кореша, судорога вместе с оглушающим стаканом проходила Саню от макушки до пят, будто тело и душу разрубали надвое. На всякий случай Саня пас вилки и нож, а если они пропадали с глаз, весь замирал и отходил, обнаружив их в чьей-нибудь режущей или колющей руке, не у себя в спине. Набыченный, с отвисшей челюстью Гондурас, по слухам, сгубил родную мать, пнув её в висок кирзовым сапогом с железной подковкой, затем прятался у бабки в Серпухове, пока бабка не дозналась про дочку и не сдала внука милиции. Теперь он, как так и надо, жил-был на свете, тырил Санины папиросы, примешивая к табаку катышки анаши, серые от карманной пыли, часто и мелко, чуть подрагивая беломориной, вшётывал в себя волоокий дым и нудно, подназойчив блохой, ржал, напрягая крупные ноздри и стучая неровными зубищами, а спустя миг его загашенные скорлупы натекали кровью, и вот он уже орал о чём-то с задранными руками, на его конопатом овальном лице, от скулы до смятого носа, натиралась нарукавной пуговицей алая царапина. Глядя на Гондураса, Саня даже трезвел, будто шёл он по зелёному тихому дугу, где думалось хорошо и, ломая смычки, играли кузнечики, — и вдруг его перекрестили жердью...

Один Борька всё презирал, а паче страха и сомнения, споря с Гондурасом, тоже что-то кричал, тугой кадык, словно поршень в насосе, туда-сюда с дивным напором ходил у него на красном горле, то выгалкивая наружу литое, мокрое и солёное словцо, и тогда всем становилось печально и больно, то отползая в молчание и давая горлу набраться воздухом, чтобы снова выстрелить наповал или сплунуть. И тоже что-то дикое, Бог ведь чем сдерживаемое было в Борьке, в его бритких, ощеренных синими костяшками руках, уже раз или два разорвавших воздух предупредительными торпедами, в коротких сильных ногах с хрупкими музыкальными коленками, которыми он, на удивление, мог устроить месиво зубов и крови во рту, в нервных частящих движениях по траектории стакан—бутылка, вообще во всём этом быстром, неровно стареющем теле с кипящей в жилах молодцеватостью и затосковавшими по зиме висками.

— Не бзди-и-и, не бзди-и-и-и! Будете бзде-е-ть на своих похоронах! — время от времени страстно, но экономно предупреждал Борька, выплетая свой голос из какого-то очень едкого веретя, которым он мог бы захлестать и подчинить себе весь мир, впрочем, ненужный ему, стегая этой отдельной плёткой по двум бараньим душам, чтобы сбить их в удобный табунок.

Смысл его кратких, как у спартамца, слов был яснее апрельского неба: говорить, при Борьке-то, они никогда не будут.

За короткие вспышки мысли и духа в себе Саня с ужасом воображал, что вот живёт он в глухом краю, сидит на чужбинном кладбище, где лежат безвестные ему люди, молчит среди живых, но тоже старонних ему людей, и чужая земля его холодит... Там же, где родная горяча, хоть лепёшки пеки, мать досасывает хлебную корку, а может быть, руками таких же, как он сам, лабазников для неё уже роется вечное становище. Конечно, есть у неё и старший сын; но когда всё кругом накренилось и поехало, надирая ножками души и полы, и Родион, наверное, блуждает по миру, не только Саня шатун. И вот эти случайные люди, эти равнодушные скоты, даром пождав сыновей, кое-как обрядят её — маленькую и сухонькую, с задравшимся носом, вшхнут в гроб, столкнут в могилу, а затем привалют сверху бульжник, справят свой собачий праздник и затопчут бугор сапогами. Но как же он может тогда существовать? Чего же не провалится в таргарары? Почему не разразится гром, которым с детства пугала мать, и не прольёт на его беспутную голову чашу, полную дымнои серы? Он-то, этот карающий гром, эта нависшая небесная чаша, точнее, страх неперменного возмездия за грехи, — всё это какое-то время держало Саню в узде; а вот же, ничто не могло собрать его в самом себе! Саня однажды будто взбурлил и разом выкипел до дна, до горьких одоньев, до золотой клёпки, которой Создатель крепил в его теле больную, странную, чумную душу, а ныне отпускал её на волю...

Прощай, прощай!

Наливали ещё и ещё — и вот уже не только далёкий, туманный лик матери вставал на Санином небе едва-едва, но и лица напротив шурум-буром относило от него за горизонт или его откатывало от них. И всей связкой, в эти мгновения существовавшей между Саней и его друзьями, вообще этим чужим другим миром, была лишь Санина протянутая рука, зажавшая кружку с прыснувшей эмалировкой. Забываясь, Саня кого-то искал по сторонам пустыми глазами, но никого и ничего уже не находил — даже надгробий и витых оград, от которых ещё утром было пёстро и зарешёчено, словно его обложили в этом кладбищенском сосняке. Слух его, как два ватных шара, мягко оседал в некую воздушную яму и, унося Саню за собой, молчал сам и его звал молчать на этом пропащем дне. Саня помнил только, что Гондурас на трёх ногах — Юморист для пушей скорости отломил ему черенок лопаты — бегал за водкой в “чепок”, попутно завоевал у кого-то полбулки хлеба и солёные огурцы, смявшиеся в кармане... И всё это смели одним хапом... громко орали, махали руками... а затем Борька за снятый с бабы Шуры крест бил Гондураса смертным боем прямо на старухиной могиле...

...К ночи вызвездило и остыло, и Саня проснулся на бугре от холода. Он резко разомкнул веки и вдруг увидел двух себя в фиолетовых свечках, которые горели над ним. Оказалось, заблудшая корова явилась на кладбище, и глаза её были большие и влажные. Ни Юмориста, ни Гондураса не было. Исчезла и общаковская сумка. В голове у Сани было железно от водки и во рту кисло от табака; пальцы отлёжанной руки, которыми он пытался выскоблить из тугой бляшки ремень, его не понимали.

— Ох, мамка! Эх, Родя! И слить хочу, как медведь бороться! — пробормотал Саня, не узнавая набравшего кладбищенской немоты голоса.

Прыгая на одной ноге, Саня зажмурился и со злости разорвал распаряху, с которой посыпались мелкие пуговки. От жажды какого-нибудь яркого подвига, внезапно открывшейся в нём, он помочился бы на люминесцентную луну, стоявшую над чёрным в ночи кладбищем. Но с пары литров было не достать, в него четыре заливай для напряжения в пузыре. И он, кряхтя и отплёвывая вязкую пену в жёсткие усы, сослепу навёл серебряную косую струю на свежую могилу. Мерцали на комьях глины срезы от лопат, дул в лицо ветер и сбивал струю на грубый крест...

VII

Со дня тех похорон, с той ужасной июньской ночи, когда он очнулся на кладбище в пыли и прахе живой и мёртвой жизни, с Саней что-то стряслось необъяснимое.

Это что-то давно, как видно, назревало в нём и только подгадывало час, чтобы проклонуться и сбить с себя скорлупу. Когда он в очередной раз явился на смену, Юморист, концом заточенной ложки резавший на пороге сало, осовело присмотрел Санино землистое лицо и сказал:

— Как будто хрен у соседа съел или гудок чесноком помазал!

Он чутко спал по ночам, пробуждаясь от своего шипящего змеиного дыхания, словно кто-то медленно, разлучая шов за швом, нитку за ниткой, тупыми ножницами или сгнившими зубами вспарывал над ним плотную ткань. Проблескивали в темноте два стеклянных кружочка — Саня брал со стола очки, — и звук исчезал, но едва Саня проваливался в подушку, как снова начинали рвать и кромсать, и он лежал с расколотой башкой.

Но и днём Саня не находил покоя и даже ел урывками, на ходу, чтобы скорее забить глотку и залить глаза, этим животным, организменным забалтывая и утомляя высокое и летучее, нывшее взаперти под рёбрами.

Вся его прошлая жизнь вздыбилась в его четырёх глазах и, свистя и гикая, пошла на него вражеской конницей.

Вместе с конницей оживали на стене, как на клубном экране, и обращали подробностями два знакомо-печальных силуэта, объятые кинематографическим искусственным мороком, и сквозь эту кольцевую завесу, сквозь рублиновую пыль и стрельяние раскручиваемой вертушки Саня ясно слышал чуть хриплые, зовущие голоса, но затем раздавался смачный не то хряск, не то

треск, изображение распадалось и меркло, а кончик оборванной черно-белой плёнки быстро вращался на бобине, точно стараясь нагнать и удержать ускользавшее от него дыхание, убежавшее движение, утекавшую речь...

Тогда Саня вскакивал и, промазывая ногами по тапочкам, с крупным потом на щеках и лбу обходил котельную, света в глухие углы фонариком, и брезгливо различал в себе, уже мокрым, как лягушка, преступную подлость ушей, ибо в минуты трепета и ужаса только уши оставались невозмутимо-сухими.

Его бледное лицо распухало в золотистых от электрического огонька лужицах, сбегавших на бетонный пол из прогнившей сливной системы, и через всё его отражение, его мученический лик, мелко рябивший от щебета капель, с хлопом пронеслись на красных лапах мерзкие облезлые крысы. Никого, кроме крыс, не найдя, Саня падал на кушетку и бессмысленно встречал рассвет, который ржавел вместе с железной крышей. И так-то, наблюдая однажды это молодое, но уже конченное солнце, слыша это мертвецкое молчание стены, за которой уже никто не жил и не кричал, Саня, как палёную водку, заглотив и своё бездомное одиночество на земле, никчёмность всего, чем он до этого дышал, и увидел за собой сгоревшую степную полосу, а впереди совсем ничего, только мрак, пустоту да зияющее открытым сердцем кладбище, и содрогнулся навек растраченному себе...

На другой день Саня сграбастал и сжёг в бочке все книги, что натаскал в свою клетушку, а чёрный пепел страниц, с вороньим карканьем поднимавшихся над огородом, догонял и добывал палкой. Бочку с ещё горячим прахом опрокинул вверх дном, над шапкой бумажной слоистой золы возвёл узкий бугор из глины.

Обвязав бритую голову косынкой, Ёлочка второй раз за лето загребал в поле картошку. Но, молодая и кипучая, она шептливо росла, спустя неделю победно разваливая земляную клеть, в которую её заточили, — Ёлочке опять заделье на весь день. К сорока годам он пропил последнюю совесть, а предпоследнюю берёг в заглазнике, и чтобы её, тайную, не спёрли, он сидел дома на заглазнике и кое-что кумекал, но доискаться до всего смысла разом путался.

Он спросил об этом смысле у Сани:

— Болты с гайками сводишь, сосед?

Саня, обмыв из ведра со вчерашним дождём руки и лицо, с наслаждением встряхнул мокрыми волосами:

— “Мы бомжи от поэзии, мы шваль!..” Как говорил мой друг Лёша Решетов, царство ему небесное.

— А-а! — рассылался Ёлочка сухим трезвым смехом.

От шабашек Саня по возможности уходил и, оставаясь дома, запирал ворота. Но скрываться ему, между прочим, было просто глупо, когда ждала великая работа. Борька с Гондурасом получили от сельсовета сказочный калым: ожидая по зиме большого людского мора, они строили на кладбище тёплую избушку с печкой и нарами, кладовку под инвентарь и крытую уборную, а Саня им нужен был подносить топоры-гвозди да шестерить у кухонного котла...

Юморист, не умея зайти в ограду, с дороги лязгал камешками в провисший оконный целлофан, а Саня, провертев в целлофане глазок, подсматривал в него да ждал, когда человек сгинет.

— Негу его, слышь?! По грибы, что ли, в лес учесал... — врал за соседом Ёлочка, покуривая на терраске, и пыльной черемуховой веткой отгонял от дышащей форточки дым и комаров, потому что за окном жена Зоя кормила пшенично-смуглой грудью что-то розовое и душистое, как свежее банное мыло.

Борька сомневался, качаясь с носка на пятку и презирая Ёлочку за его тихий уют, за измену былым принципам и передовой морали, а больше за тёплую подагряющую жену, которая ждала Ёлочку в постели:

— Какие грибы, придурок, в час ночи? Разбежись и ударься об угол!

Всё в Сане натянулось в одну тугую звонкую боль, и куда бы он ни шёл, по делу, а чаще без него шараялся ли в ограде и по дому, задевая то сырой

куст сирени, то себя в мутном омуте трюмо, всякое прикосновение чувствовалось особенно сильно. Было это так, будто всё Санино тело опухло от ударов, а уже в теле вместе с кровью запылались и схватились корками душа, и когда ворошили тело, душа мелко и трескалась, расплывалась кусками и кричала. Она словно бы лизала сама себя шершавым языком и оттуда, из Саниного нутра, озирала хозяина голубыми преданными глазами да тяжело вздыхала, изымая это дыхание уже из своей, душевной глубины. И если Саня кое-как, но управлялся с душой в себе, то с тем, что было в самой душе, он совладать не мог, слабо представляя, что ту, душевную боль, сестреницу его внешней боли, живым рукам не согнуть. Но было, наверное, какое-то вышнее знамение, стояло над грешным существом, отводило от его чела смертные удары, коли сам человек всё ещё жил под грозным небом, слабой былинкой колеблясь на вселенском ветру...

Сны Сане не перепадали, и если он засыпал под утро или в дождь, когда со всех крыш рыдало, чавкали дороги и посёлок затихал в мозговой мгле, то в глазах у него, как стоп-кадр, застыл чёрный квадрат. В квадрат лезли безмозглые существа с крысиными хвостами, окликали Саню по имени и куда-то манили. Пробуждаясь, Саня видел, что это не квадрат, а дверь в дежурку, и в дверь ломилась красная жара и похмельная шайба Гондураса, искавшего носки:

— Сандро, мои бумеранги не ты забашлял?

Глаза у Сани запали, из них вымыло былой металлический блеск, и даже ранний стакан водки, которым он опалил нутро, не задувал в него февральской метелью.

Пьянства он тоже, впрочем, стал сторониться, а мужикам объяснял свой отказ молчком, положив руку на сердце.

— Моторчик! — душевно поддакивали мужики.

Борька, как путный, наказывал Сане съездить в больницу.

— А то я руки сорву тебя хоронить... — вздыхал Юморист.

Но до Борькиных тягот было далеко, а в больницу Саня с гнилой душой и со своими страхами был не ездом.

И, засмотревшись в себя, он, наконец, свыкся со своей новой болью, обжился в ней, как в новой скорлупе, в которую он себя заковал, и мало-мало разобрался с новым собой, как с руководством к блестящему от масла электророту, который в конце месяца завезли в котельную.

VIII

Теперь на смену Саня шёл скоро, не задерживаясь в дугах, налитых богатой зеленью, и сняв очки, в которые жарило солнце. Очки заливало сладким потом, а поспешал Саня потому, что зудела на спине прелая рубаха, будто за шиворот насыпали песок, и лысина блестела сольной яичницей. Тяжёлое, всё пёстрое, словно сотканное из разных лоскутов, стадо ходило у дороги. У бледно-розовых ребристых коровьих сосков, где надавилось молоко, жужжали мухи и шарахались круглым роем, отмахиваемые ленивыми хвостами, а на тёплых спинах быков дремали бархатные бабочки. Витька-пастух, набросив на лицо хрустящую газету с бабами, заголившими срам ещё на обложке, лежал в треугольной тени шалаша из свежей ольхи. Его выброшенные в реке резиновые сапоги сохли на солнце, надёрнутые голенищами на колья, а белая рубаха, трепыхаясь на высокой вешке, размахивала по ветру рукавами и всё не могла никак улететь.

На Санины шаги пастух непременно просыпался, поднимал от земли соломенную голову:

— А-а, это ты, дядь Сань! А то я смотрю, что вроде ты идёшь...

Он гулко кашлял со сна, и его равнодушные ко всему глаза метили в пустоту, как два забранных для рогаточного выстрела камешка, и поражали там, вдалеке, какую-то свою одинокую печаль.

Однажды Витька ещё из-за бугра, на который он загнал стадо, чтобы его обветрило от мошки, звал Саню к шалашу. На доске, поставленной на два кирпичика, лежали белобокая редиска, протёкшие помидоры и разрезанные

вдоль огурцы с рыхлой сердцевинкой. Чёрный хлеб заглох, его Витька не резал, а рвал пальцами, и был хлеб в дырках. Тут же стояла консервная банка с камнем соли, окислившейся от росы; в соль ткнулась надкушенная лужка. Витька покчал из армейской фляжки в два обрезанных горлышка от пластиковых бутылок с пробками, настойчиво зачихал одно Сане в руку. Икая, он поворотился обугленным от загара лицом к заросшей пашне, посередине которой в сухом ливне солнца, перемежаемом яркой летящей пылью, как в цветной калейдоскопической дымке, стояли кладбищенские сосны. Затем Витька нагнулся, помазал шероховатую землю пальцем, обмакнув его прежде в водку, и сорвавшимся голосом произнёс:

— Давай, дядь Сань, хряпни за маманю пият грамм! Вчера же письмо пришло — тако-ое...

Был Витька уже косою, как турецкая сабля, ибо справлял поминки ещё с утра, а затем догонялся в посёлке. Худой кадык буглялся в тонкой шее, выпирали под рубахой позвонки, острился длинный облупленный нос, да и во всём Витькином существе, как в Сане когда-то, было некое горькое неустройство. Это, впрочем, не мешало ему драться с женой, пить водку на жару, валяться день-деньской под солнцем, выгорая рубахой и лицом, и плевать сквозь соломинку на возившегося в траве жука, которому Витька оторвал крылья.

— Огурцы соли, дядь Сань, я-то соль не ем — по-очки!.. — настойчиво угощал Витька, у которого захлестнуло бутылочным пеклом рот и на глаза напоззли густые слёзы.

И Саня, как ему этого не хотелось, по примеру Витьки покапал на землю и хватанул разом, чутко вслушиваясь, как водка отзовется в нём. В низ живота легло празднично и воздушно, на миг всё расцвело в глазах, и тут же снова поблёлло. Он помякчал в банке обломок огурца и, обжигая потрепавшиеся губы ржавой солью, зачихал в рот. Спросить было нечего; он выдал первое, что вместе с огуречным семечком село на язык:

— Что с ней стало-то? — Саня сплюнул семечко, утёр губы. — Ну, как получилось?

— А моторчик, — кротко сказал Витька, когда отдышался, и жизнь вновь улыбнулась ему. — Моторчик заглох, дядь Сань!..

Битый жизнью и смертью “уазик” с красным крестом на боку промчал в соседнее село, поднимая за собой пыль и серебрясь в этом сером облаке лобовым выпуклым стеклом. Витька, проводив его восторженными глазами, неглубоко вздохнул и с мокрым хрустом разгрыз огуречный задок.

— Может, кто-нибудь кердыкнулся?! Я тогда опять с дядей Борей пойду могилу рыть, пусть Валька с заугланами пасёт за меня...

Никакое письмо, как выяснилось к вечеру, Витька не получал, и получить, дырявое сердце, не мог, поскольку не было у него ни родины, ни флага, а писать ему можно было лишь с почтовыми голубями. Скорее всего, и тётка его была жива и здорова. Но Витька шумел на людях, оставив стадо оборвышам, и под тёткину несчастную кончину выбирал в магазине крупный долг. Он врал навывлет, прямо в душу человека, что маманя “кинула” его, а братиков и сестёр, которых у него отродясь не было, сдали американцам “на органы”. Однако не плакал: сухи и сметливы были его глаза, крылись под козырьком бейсболки “Речфлот”, съехавшей на брови.

За мужем волоклась растрёпанная Валька, с каждым шагом играли жилы на её сваренном лице, а рот сам собой, против её воли, широко открывался книзу, словно потягиваемый незримыми нитками, которыми всю Вальку приводили в движение, как тряпичную куклу с иголкой в сердце.

— Сирота, сирота! Плохо я одета! Никто замуж не берёт — эх! — девушку за это! — орала Валька от ужаса за себя, за своё уродство, которое она спьяну выставляла напоказ, а трезвая хоронила за семью платками.

Новость эта почему-то так подействовала на Саню, что он дня два не мог ни есть, ни пить и болел хуже, чем от живота, а во сне вскидывался и звал брата.

IX

В субботу, на Ильин день, в котельную неожиданно пришёл участковый милиционер.

Стояла жара, все дни над красным от солнца сосняком не было ни облачка, закаты пенились багровой густой краской, в посёлке душно и горячо пахло угольным шлаком, которым зимой посыпали дороги, а дощатые желоба разохлись, и осы свили в них свои гудящие гнёзда. Вот и пожилой майор Коробейников походил на грустное, спёкшее все корешки в сухой земле растение, которое к тому же выдернули из почвы и пустили бродить на толстых ножках, чтобы шутало по свету крапиву и репей, и когда бы растение ни верталось со службы в родную коробушку, полнёхонькую таких же грустных и плотных, уже семейных корочат во главе с маленькой добрейшей Коробчихой, всё оберегавшей детей подолом, никак это перекасти-поле не могло угомониться, о чём-то кручинилось и куда-то рвалось, хотя огромная, глаже, чем у Сани, лысина кисло потела и походила на лесосеку, на которой только по склону уцелели редкие деревья и картавый кустарник. Но дело своё Коробейников знал добре, блестел замок его дырявой в уголках, словно объеденной мышами планшетки, скрипел на коренастой широкой фигуре салыный ремень и тяжёлый пистолет бдительно оттягивал на короткой ляжке кобуру.

— Ильин день, а дождя нету! Хоть бы брызнул под вечер, а то третью неделю поливаю картошку из мотопомпы... — зажав планшечку подмышкой, Коробейников по-свойски загремел в ведре с водой железной кружкой.

— Это из крана, — предупредил Саня, а Коробейников что-то прожурчал в ответ и стал пить.

Вода, дымчатая от извести, шипучей воронкой утекала Коробейникову в рот, частью выливаясь обратно и капая с подбородка на пол, где плотно встали ноги участкового, и только в небольшой ямочке на подбородке, зацепившись за щетинку, слезилась одна капелька. Отпив, Коробейников полил из кружки на лысину, затем на лицо, смёл капельки рукавом и посмотрел на Саню оживлённо и влажно. Он словно чего-то ждал, может быть, неземного чувствования и предугадывания причин его визита. Однако Саня не понимал.

— Недавно ездил в город к отцу Иннокентию, поставил свечку за матушку... — прохаживаясь взад-вперёд, раздумался Коробейников. — Ей же шестнадцатого тридцать лет со дня смерти... Знаешь, как я свою старушку хоронил?

К шести часам мужики разошлись по домам — топить адовы бани и кланчить у жён на суперкрепкое пиво. Саня прозябал в котельной один, наблюдая, как воробьи дербанят во дворе жёлтые стручки акации. Ни жены, ни бани у него не было, мылся он в душевой. Когда явился участковый, Саня как раз вышел из-под дождя и сидел в дежурке в одних трусах. Он думал о Гондурасе, который на прошлой неделе порешил топором стариков Башаровых, тихо гнавших самогонку, и теперь ходил под следствием. В визите участкового Саня угадал подвох, а его вопрос пропустил мимо ушей.

Коробейников, конечно, попросту подбирал к нему ключ.

— Тоже, у Валерчи, у младшего-то, доживала в Таганроге, а у Валерчи жена... такая! — охотно и смачно, как, наверное, наворачивал красный борщ и домашние котлеты, тянул длинную песню Коробейников.

Он чего-то быстро запыхался, долго, словно мозговые кости, обсасывал слова, а которые глотал и тут же будто давился ими.

— Ну, тайком написала мне... матушка: забери, Роман... невестка все глаза... повы... повыкле... повыклева... а то заду... шу.. шу... шу...

Саня постучал Коробейникова по спине.

— ...а то задушусь. Спасибо! А-а-стма... — Коробейников погрузился в груди у него рванулось и сиплю прокричало, забываясь в какие-то дальние уголки. — Значит, выехал я с первым поездом...

— И?! — коротким зевком нагло оборвали его рассказ.

Участковый натурально кашлянул и, свистнув дыхалами, отогнал в горло мокрую перхоту.

И тут Саня промолчал.

Тогда Коробейников перевёл взгляд, уже заметно освинцевелый и выпуклый, с Сани на кушетку под замасленной спецовкой и с чурочкой вместо подушки, потом на стол из неструганных досок, погребённый гаечными ключами, вентилями, болтами, окурками и всем на свете, и, хлопнув по лужицам на полу, мысленно поспешил из этого смрадного мирка в окошко, за которым начинался посёлок. Водовозка проехала по улице; резиновая кишка, задранная крючком на бочку, на кочках тряслась и подпрыгивала, но вдруг выскользнула и зашипела на дороге поражённой змеей, выпуская из приплюснутого зева серебряное жало воды...

— Помирает твоя старуха, — неожиданно просто и внятно сказал Коробейников и, ослабив ремень, уперся низким животом в ножку качнувшегося стола, в лоб уставился на Саню. — А то уж...

— Откуда знаешь? — немного погодя отозвался Саня.

— Из Харётской милиции ориентировка пришла. Брат тебя ищет, просит доставить на место!

Махровое полотенце, которое Саня перекинул через плечо, дышало на его груди, но жило отдельной своей тряпичной жизнью. И Санино родное, голубиное, это светло-голубое всё, что когда-то было у него в руках, но протекло сквозь пальцы так-то вот зряшно, как эта вода из планга, однажды ушло из мыслей, точно выдохлось из него, стало высоким облаком и понеслось по небу наравне с прочими тучками. Думы об этом всё на поверку оказались ничем не крепче спиртового запаха, выносимого поутру, и весть о матери Саня встретил с холодными висками. Только что-то небожно хрустнуло в нём, как ветка в стеклянном от инея лесу, да брови метнулись ласточкиным хвостом, но и те уползи на место, растеклись по своим костяным дугам.

— А они имеют с матерью право? Ну, по закону? — только и спросил Саня.

— Кукушонок ты, Золотарёв, тебе и закон не писан!

Коробейников встал, распахнул планшетку, бросил на стол лист бумаги и карандаш.

— Пиши отказное...

Х

Саня шерстил посёлок, продавая с плеча пиджак, почти новый, упал до тысячи, но на билет наскрёб.

Борька тоже носился с ним, славя возвращение друга к старой доброй жизни, а когда всё раскусил, снялся с дистанции и пошёл своим ходом.

— Санёк, если чё... Ну, ты меня понял! — пьяный Борька с силой, набитой в руки копанием могил, втолкал Саню в автобус и даже, кажется, кивнул на прощанье — за пыльным окошком было не видать...

Он думал, что его мучения изыдут сами собой, улетят в сквозящую щель окна, за жёлто-коричневую деревянную раму, которую он время от времени приспускал, чтобы встречным воздухом обдуло лицо и душный плацкарт, и уже там, за гремящим потоком поезда, распадутся в прахе и ничтожестве мелькающей жизни, затихнут перепёлками в глупой смиренной природе, вообще утомятся, забудутся, пресытятся дорожными впечатлениями.

Но страдания его от скорой встречи с матерью и братом, оттого, что спустя годы он возвращался в своё гнездо, не измывалось ничем, никакой телесной, духовной ли усталостью, и не подавлял эту горечь даже жуткий запах смеси, которой были пропитаны новые шпалы.

Тут, в этой спетой и спитой деревенской России, черкал по стёклам поезда убогий чернильный дождь. Он показался Сане ещё более горестным, чем тот, который он видел в посёлке, и эти люди за окном были, вероятно, самыми несчастными на земле. И мусор, который пассажиры вымётывали за окна, разматывался на лету и рваными бумажными тучами сходил над этой нищетой, а конопатые ребятишки со станций от скуки бежали за промасленными от колбас и копчёных куриц газетами, как за воздушными змеями...

От стучащего в ночи поезда едва-едва натёрлась на востоке розовая полоска зари, а Саня уже высадился на железнодорожной станции.

Через час он трясся в кабине подвернувшейся грузовухи, огромная кепка, которую Ёлочка дал ему в дорогу, сваливалась Сане на глаза. Тучный русокудрый водитель по имени Николай вытребовал на гипсовом руднике отпуск, жену с ребятишками сослал к дядьке в Краснодар, чтобы есть даровые груши-арбузы и набираться литого здоровья, а сам спешил к тестю, куда-то на Балтай, косить от зари и ставить много-много сена. Всё в жизни у Николая было хорошо, обстоятельно, и колючие огурцы, которые ему завернули в полотенце, он ел хорошо и обстоятельно, хрустя сочно и зелёно во всё горло. Рот у Николая белел от крепких плотных зубов. Николай как будто ел не огурцы, а чистый снег, начерпав его подальше от дороги. И жена у него, скорее всего, была пышной и сладкой, словно куст чернослива по осени, тоже хорошо и обстоятельно ела домашние булки и салыче с мясной прослойкой, небрежно красилась и не носила бижутерию, предпочитая всё натуральное. А их дети, наверное, сплошь в похвальных грамотах, ходят летом босиком и вообще с розовых ногтей держат себя в узде... Саня враз почувствовал себя дефективным. Он, который никогда не умел так жить, чтобы быть полезным всем и себе не в обузу, с белой вороньей грустью косился на Николая, но и боялся его хрупкого мотылькового счастья, и спроси кто-нибудь у Сани, надо ли ему эту тихую радость, — пожалуй, он отказался бы. В кузове у Николая щерились зубьями деревянные грабли, отливали серебром две напшарканные косы самого большого номера и с железными рукоятками, грохотала свора вил и, смиряя это грозное воинство, покоился кусок заплатанного брезента от армейской палатки. Пузатая капроновая фляга, лёжа на боку, тяжело вздыхала в углу и, по всему, дожидаться не чаяла мглистого лугового вечера, когда с неё скрутят пробку и среди побеждённой прохладной травы склонят горлышком над кружкой.

— Примешь с устатку, земля? — по-свойски спросил Николай, но Саня замотал головой. — А то гляди: первач! Накапай себе...

Выехали в степь, когда из чёрной ноздреватой тучи, от самой станции кружившей над ними то опережая машину, то оставаясь за глиняным холмом, налетел хищный дождь, с клёкотом серебряных клювов пронёсся над землей, издолбил капот машины, пыль на дороге, смял травы и скрылся. Небо, погрохотав, раз-другой сверкнуло алыми проволоками. В расступившемся фиолете выплыло солнце, пустило по лобовому стеклу радужный хвост и слизало капли, которые разметали старые “дворники”. За окном блестели дорожные знаки, камни и жестяные козырьки редких остановок, едкая бензинная пыль размазывалась на мокрых листьях. Ольхи при дороге были полосатые, все в чернушных пятнах, ибо солнце выжелтило на них только те места, которые были чистыми, а туда, куда села пыль, загар поцеловать не смог, и там после дождя зияла слабая зеленца. Но яркой, как в Санином детстве, зелени не было. Под открытым небом, на жалыщем солнце всё было серо и скудно, как всегда бывает в степи в конце лета. Всё здесь, на ветровом юру России, уставало и изнашивалось не ко времени: травы, избы, люди. И ещё нужно было суметь, ходя под здешним богом, сохранить себя для долгой и трудной жизни...

На тракте голосовали буряты — помятый старик лет шестидесяти, весь в думах и частых движениях, а с ним — до черепа стриженный высокий парень призывного возраста, похмельно и длинно плевавший на ветер. Они проморгали ранний автобус, возвращаясь из соседнего села, где загуляла, ломая хрусталь, свадьба, суетились вокруг “ЗИЛа”, отворяя водительскую дверцу и лапая руку Николая, в котором признали нужного человека, и глаза их были голубы от бессонницы и вчерашнего спирта.

— Один бурят — хорошо, два — шум, три — драка! — объясняя скорый уход с праздника, хохотнул старик и, посмурнев, рванул воздух губами, что-то недужно и властно прокричав на бурятском языке для парня, лизавшего разбитые кулаки.

Ну, залезли в кузов, гремя стеклом в двух брезентовых сумках, ну, поехали.

Пошёл съезд на какую-то деревушку, под самое рубиновое облако вознеслась труба котельной, наводя на Саню тоску и сон. На берёзке, одиноко сто-

явшей на жёлтой полянке, трепались разноцветные ленточки и уже выгорели. В кабину постучали.

— Чего они? — удивился Николай.

— Амво-о-он... — устало ответил Саня. — Ты нездешний?

— Не-а.

— Откуда?

— Усольский. Приехал на рудник, немцы же строят гипсокартонный завод...

— А жена твоя... здешняя?

— Да-а.

— Бурятка?

— Не-а!!! — Николая радостно рассмеялся, оскалив снег, и его мясистый влажный язык на фоне белого застыл тёмно-красной раздавленной сливой.

Саня даже очки снял от волнения и двумя пальцами провёл от переносицы к губам, точно сдирая с лица противную паутину, в которую его заманили.

— Обычай у них такой — капать Бурхану! Не понимаешь?!

Николай, проскрипев тормозной педалью, сразу стал серьёзным.

— Понимаю, чо ты! Просто не замечал никогда...

Свернули на обочину.

Буряты выставили на шербатый асфальт пластиковые стаканчики, которые роняло ветром, пока старик не разлил в них из литрухи. Саян, внук старика, нарезал прямо на коленке сало и хлеб; его потёршиеся в стирках джинсы были в ножевых царапинах, как разделочная доска. Один стаканчик взял старик, обмакивая в него указательный палец, побрызгал на берёзу, потом в воздух вокруг себя, что-то шепча так, как будто перебирал губами крохотный шурпчик. За ним то же самое, но молчком, с крепким неверием в происходящее, проделал Саян, с косою ухмылкой оставил на плоском камне хлебную корочку и штрих-другой сала, размягчавшего на солнце и затхло пахнувшего целлофановым пакетом. Разлили ещё. Парень, сев на корточки в сторонке, закурил, а старик подошёл к Сане. Резкие морщины на лбу старика откатились к седым волосам, кожа стала гладкой, как Байкал без ветра: так старик улыбнулся случайному в его жизни человеку. Николай из машины с интересом наблюдал за ними, сглатывая последний домашний огурец, и уже никуда не торопился.

— Твой пай — мой пай! — бархатным голосом, в котором зазвучал хрипотек ветра, сказал старик, подавая Сане стаканчик и кивая на другой, остававшийся в его руке.

Оба вышли. Саня бегло зажевал коркой, а старик, зажмурившись, зашюхал рукавом, и когда открыл глаза, они были мокрые...

На следующем повороте, у такой же наряженной берёзки, в изножье которой лежали пустые бутылки и смятая пластиковая посуда, в кабину заколотили опять, уже не просительно, а требовательно. Николай насупилс и посмотрел на часы, но смолчал. Старик на этот раз выкупал в стаканчике с водкой листок берёзы, пошептал, поклонился земле и, хмуро покосившись на внука, которого уже штормило и грозило выбросить за борт, сделал в его сторону два-три быстрых шага. Руки старика, как два беркута, широкими махами взвились над его головой, изготовившись растерзать добычу. И Саян мигом залез в кузов, с презрением ко всем и всему отвернулся.

Старик, найдя в Сане родственную душу, снова подошёл к нему:

— Твой пай — мой пай!

— Чай пил — гора ходил, водка пил — равнина падал! — вспомнил Саня и понял, что не доедет...

XI

Закатились в Харёты вечером, только прогнали стадо. Воздух ещё гудел от луговой мошки, которая со стадом явилась в деревню. Со стадиона доносило хлопки по футбольному мячу, а Сане помнилось во сне, что снова стучат в кабину. Он крикнул, чтобы ударили по тормозам, и рот его пьяно разъехался, однако кроме сухой слюны ничего не уронил. В пути Саня насчитал

девять поворотов и раскис на мягком сидении, жарком от августовского солнца, которое за день окрепло и золотилось в небе, где уже не было и мало облачка, одна степная печаль. За время его забытья буряты сошли в пшеничном поле, снова долго ручкались с водителем...

Николай потряс его за плечо.

— Ну, где твой дом? Куда рулить? — со смехом спросил у Сани, когда тот продрал глаза и озирался так, как будто впервые видел и Николая, и эту деревню, и себя в узком зеркальце, отражавшем чемодан и алый блеск заката, догоравшего у Сани за спиной, в кузове.

— Где это мы?! — завозился Саня.

— Привет! Нака-апался...

По тихой сумеречной улице ехал верховой; брэнчала на зубах коня железная конфета. Оттолкнув дверцу “ЗИЛа”, Саня свалился с подножки, на хромых ногах подсекал к пастуху, схватился за узду и, гордясь от слуха Николая ладонью, приложенной ко рту, снизу с надеждой уставился на человека:

— Слушай, друг, выручай, а! Где тут живёт старуха Золотарёва?

Чёрный азиат, близко присмотрев Саню, вдруг отпрянул, а с ним кинулся в сторону его ближний конь. Верховой выругался по-бурятски, смирая коня. Но конь всё равно пятился от незнакомца, от которого пахло табаком, водкой и гулящей жизнью, скалил зубы и раз или два хватанул бродягу за рукав.

— Дак чо молчишь, друг?

— А ты кто такой? — строго спросил конный.

— Сын я её, Саня. Саня Золотарёв! — Саня радостно застучал себе в грудь, как будто после многих лет разлуки встретился с собой и, едва узнав бывшего себя, со слезами и трепетом кинулся с прошлым собой обниматься. — Может, видались? Ты в этой школе учился?

В тугую жёсткую ухмылку сомкнулся рот верхового, он крутнулся на одном месте и, пристукнув животное в дыхала, надвинулся на Саню конской грудью, мощной и вольной, в которой жило и работало большое гордое сердце. И Саня, вздрогнув, со страхом в глазах попытался, пока не свалился, запутавшись в собственных ногах. Николай вопросительно посигналил, но никто не услышал, только конь повёл мохнатым ухом и, задрав голову, нервно заржал.

Кепка тоже свалилась с Сани. Он, поднявшись и отряхивая пыль, долго не мог нахлобучить кепку на голову, не сводил дрожавших глаз с человека напротив.

— Чо ты?!

— А чего?

— Лезешь-то дуриком!

— А чего?!

Азиат сплюнул; глаза его вспухли от мошки и дыма. Сане почудилось что-то знакомое в лице верхового. Он словно бы поглядел в мёртвый омут и увидел одну живую рыбку, и эта живая рыбка, тоже увидев Саню, вся затрепетала плавниками и пошла к нему через иловую толщ и ядовитые водоросли...

Саня снова, уже с неотрывной силой вцепился в узду.

— Брат, ты?! Ро-одя!

— Хватилась... она!

Родион с хрустом завернул коню морду, конь захрипел.

— Узду-то пусти, Соловушка, чо ты его чалишь...

...Справили сороковины. Вечером все разошлись, Саня, абсолютно трезвый, залез на чердак, раскопал под ветхими тряпками свой тайник, о котором ещё за столом вспоминал Родя, и старым тозовским патроном выстрелил в себя из расточенного стартового пистолета. Но убиться не убился, — жалкого, красного от вылившейся крови, побитого уродливой контузией, содрогавшей его до смерти, ссаживали Саню с чердака на верёвках, а затем под руки вели через двор к воротам, где плакала сиреной и мигала в ночи красно-синим позывным огоньком машина “скорой помощи”.

Брат Родион сидел на скамье у дома и, опустив белую голову, курил жгучие Санины папиросы, поджигая их одну от другой.